"РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОГО НАРОДНОГО БЫТА"

I

Умерла у нашей барыни горничная девушка, и приказчику веленье прислано барское: немедля другую к барыне представить. Выбрал приказчик меня. Я была сирота, только и роду всего у меня, что дедушка. Ласковый такой старичок был, седенький, смирный. Выслушал он приказ, вздохнул да и повез меня.

Барыня наша жила в уездном городке. Городок был ветхонький, словно серенький. И домики серенькие, и заборы, и частоколы, да и мещане там все в серых чуйках ходили. А вот деревья там такие развесистые, такие густолиственные! Над иною избушкою раскинется липа зеленая, всю закроет, только чуть уголочек сереет. Улички узенькие; под заборами такая травка густая росла; воробьев видимо-невидимо, — такое чириканье поднимают; и сорок много водилось, — так по улице и скачут, не боятся.

Барский дом стоял на конце города, на выезде, каменный, высокий; подъезды крытые; над воротами два льва сидели с разинутою пастью. Кругом дома сад густой зеленел, в саду беседки разные, дорожки усыпаны песком, — все по-барски. А кругом мещанские домики жались друг к дружке вдоль улички рядочком.

Въехали мы в ворота. Двор обширный и чистый. Вышел к нам навстречу высокий бородач, смуглый, румяный; глаза у него так и сверкают, лицо такое удалое, гордое, улыбка веселая да насмешливая. На нем плисовые шаровары, рубашка красная, сапоги скрипучие. Вышел он без шапки, и черные его кудри развеваются.

Дедушка кланяется ему. Поклонился и он; подбоченился и осмотрел нас с ног до головы.

Тут выскочил из избы мальчишка быстроглазый, круглолицый, черный, как словно жучок. Выглянул из дверей повар в белом колпаке, — сморщенный, седой; глазки у него маленькие, носик остренький и кривой; борода не брита давно, — выглянул, посмотрел, табаку понюхал и пошел. Вот словно сказал: "Видали и таких!" Вышла на крыльцо из хором старушка, в темном платье и в белом чепце, степенная, строгая старушка, и подозвала меня к себе.

— Иди за мною к барыне, — говорит, — войдешь — поклонись низко и к ручке подойди, поцелуй ручку бережно, не бросайся.

II

Иду за нею. Комнаты большие, светлые. Ковры богатые, яркие, зеркала, картины в золотых рамах.

Барыня сидит в кресле и с собачкой играет. Из себя она еще хороша была, хоть и не молода. Взгляд быстрый, речь живая, скорая, голос звонкий. И видно сейчас, что щеголиха она не последняя: все на ней с иголочки, и сидит она такая нарядная да пышная. Посмотрела на меня, спросила, как зовут и сколько мне лет, и сказала старушке:

— Ну, уведите ее.

Простилась я с дедушкой.

— Не скучай, дитятко! — говорил он мне. — То ли еще на веку-то случается! А ты не скучай!

Все меня утешал, а сам вздыхал; а поехал — заплакал.

Одели меня и к барыне приставили, а старушка (Аксинья Ивановна ее звали) домой пошла. Она проживала у барыни, пока надо было, а потом отослали ее.

В хоромах я была да Миша, вот тот мальчик быстроглазый. Миша также сирота был, да горевать он не горевал; веселый такой, шумливый, говорун, проказник, и ко всякому, бывало, он сумеет подойти. Уж на что повар нелюбезный человек был, молчаливый, — не то чтобы чуждался он людей, только не охоч был ни на дружбу, ни на знакомство, — а и он, бывало, слушал Мишу, как тот размелется; не прогонял никогда; слушает, бывало, улыбнется и табаку понюхает. А Ефим-кучер так очень Мишу любил, часто его зовет, бывало, сам и в разговоры вдается, как с ровнею.

Барыня моею услугою недовольна была и все на меня гневалась. Я робка очень была, — бывало, она крикнет — у меня и руки задрожат, и в глазах потемнеет; ну, и неловкая я была такая, непроворная, что греха таить!

Билась она, билась со мною да и послала за Аксиньей Ивановной. Аксинья Ивановна сейчас прибежала.

— Что вашей милости угодно?

— Аксинья Ивановна! Поищи-ка ты мне хорошую служанку. Нет ли из мещанок? Все они поумней и посмышленей.

Аксинья Ивановна сейчас за платок, за шапочку и пошла девушку разыскивать.

Под вечер видим, идет Аксинья Ивановна и за собою девушку ведет. Девушка высокая, статная; глазами так и обжигает. Вышел Ефим навстречу им и остановился — хороша! А девушка на него глянула ли, нет ли, и прошла мимо в хоромы, голову высоко поднявши. Ефим себе отвернулся.

— Кляняться не будем, Миша! — сказал с усмешкой.

А Миша ему:

— Вот, Ефим Григорыч, королева-то!

— Эх, Миша, не все золото, что блестит! — Ефим ответил.

Барыне девушка очень по нраву пришлась: договорила ее, а Аксинье Ивановне, за труд да за усердие, старое платье пожаловала.

III

Пришла девушка ужинать в людскую и все молча сидела. Если что и спросят, то сквозь зубы отвечала. Ефим усмехался да поглядывал на нее. А она против него сидит. Платье на ней розовое, в ушах длинные стразовые подвески качаются, коса на самой маковке под гребешком. Из себя хоть и худощава и желтолица, а хороша. Вечером еще лучше она нам показалась: глаза такие яркие, умные; брови темные дугою; а нраву, видно, она насмешливого и кичлива: сидит себе, тонкие губы сжавши.

Заговорили мы с нею, а у нее, что называется, каждое словечко по рублю… Мы скоро и замолкли. Вдруг Ефим к ней:

— А что, красавица, как имя ваше, как отчество?

Она как глянет, ровно водою студеною окатила.

— Что угодно? — протянула.

Голос-то у ней не звучит словно.

Ефим даже вспыхнул весь, ну, а не сплошал-таки.

— Как по имени, по отчеству величают? — повторил.

— Зовут меня Анною, а по батюшке Акимовною, — ответила ему девушка, и так, словно топором отрубила.

Крепко, кажись, она спесивостью нашего Ефима задела; он только кудрями тряхнул и проговорил:

— Желаем много лет здравствовать Анне Акимовне!

Глаза у него сверкнули, и замолчал он на весь вечер. А как расходились мы, он на нее посмотрел так язвительно, усмехнулся и прищурился, что Анна Акимовна вспыхнула и отвернулась, — словно осерчала.

IV

Вот на другой день просит Анна Акимовна барыню, чтоб за ее пожитками послать. Она прежде проживала у тетки, городской мещанки; там ее и все добро хранилось — так вот она и просит барыню. Барыня сейчас приказала:

— Пусть Ефим сходит да заберет или пусть съездит. Скажи ему.

Выходит Анна Акимовна на крыльцо, а тут и все люди во дворе, и Ефим тут же. Вот она оглядывает всех сверху, с голов, да протяжно так и говорит:

— А кто тут у вас Ефим-кучер?

Словно она его и не знает, а неправда, — сейчас всякий бы сказал, что неправда. Не знает, а чего ж это вся вспыхнула? Чего в его сторону и не глянет!

— Кто у вас тут кучер Ефим?

Мы только все переглянулись, а поваренок Миша так и покатился со смеху, да и все-то улыбнулись. А Ефим тряхнул кудрями и выступил ближе к ней.

— Вот удар-то сердцу молодецкому! — обращается Ефим к нам. — Мы думали, что про нас и в Москве писано, а выходит-то что? Неведомые, незнаемые люди совсем! Красная девушка щурилась и жмурилась, — да лица нашего не признала!

Анна Акимовна его речь перебивает:

— Барыня приказала мои пожитки перевезти, да не мешкать с этим приказывала.

— Помилуйте, Анна Акимовна, как можно-с! Мы в сей же миг… А много подвод прикажете вырядить?

Сам смиренником стоит, а уж лукавство-то такое на лице!

Анна Акимовна смутилась и рассердилась, и слова не ответила — ушла.

Кто стоял тут на дворе, — посмеялись и разошлись, только еще Ефим остался.

Выходит опять Анна Акимовна.

— Что ж не едешь, куда послан? — сурово спросила его и глянула исподлобья, враждебно.

— Да вот ответу мне не дали; ответу жду: сколько…

— У меня пожитков немного.

И ушла, и дверью за собою хлопнула.

Ефим вытянул возище громадный, что сено возят, запряг и поехал к ее тетке.

V

Едет оттуда; видим — везет сундучишко голубенький, жестью обитый, да две подушечки, да одеяльце легонькое. Поставил все добро серед воза и так уж кричит на лошадь да понукает, что все соседи из окон высунулись, — глазеют. Тамошние мещанки такие уж любопытницы всесветные, не приведи господи!

— Что, что везут? — слышно, а добро-то только вверх подбрасывается от каждого толчка, — тяжести там мало было.

Гляну, а из хором, из окошка сама Анна Акимовна смотрит, да бледная такая, глаза блестят и губы дрожат.

Ефим въехал во двор и крикнул:

— Эй, люд крещеный! Идите да великую добычу поднять помогите!

Анна Акимовна выбежала:

— Как ты смеешь зубоскалить? — прошептала. — Как ты смеешь? Я барыне скажу…

— Переведите дух, Анна Акимовна; больно уж осерчали вы, ей-богу.

Она схватила свой сундучок, подушечки, и сама потащила за собою. Ефим постоял, поглядел с усмешкой и стал песенку насвистывать.

VI

Сбираемся ужинать. Не придет, думаю, Анна Акимовна: огорчена крепко. А она и входит, да веселая такая; приветливей даже стала: на меня взглянула, Мише усмехнулась, у повара спросила, где вода стоит; только Ефима словно не видит она.

Сели за ужин. Стала она мне рассказывать, какая под городом роща славная, и гулять там прохладно, и много народу туда сходится, съезжается. Рассказывает, а я слушаю. И щеки у ней разгорелись, глаза так и искрятся. "Вот веселье напало!" — дивлюсь... Да как-то глянула на нее сбоку, а лицо ее все подергивается, словно ей что в сердце впилось. "Вот как!" — думаю.

А Анна Акимовна беспрестанно говорит, говорит: ну, и договорилась...

— Раз, — рассказывает, — шли мы из рощи поздно ночью; целая нас ватага была, и весело так было; ночь-то месячная, теплая, то и дело, встречаются люди. Вдруг тучами заволокло; темь такая, ни зги не видно, а нам как раз мостик переходить, и навстречу нам какие-то молодцы, — кто их знает чьи, — себе толпятся. Суматоха поднялась, и девушек столкнули. Я первая слетела под мосток...

А Ефим ей на то:

— Великому кораблю великое и плаванье, Анна Акимовна!

Анну Акимовну словно водой окатили; вздрогнула, не нашлась что отвечать; хотела она опять в разговоры пуститься, в рассказы, да нет,

уж не вяжутся слова. Прикусила она губы, нахмурилась, задумалась. А Ефим как ни в чем не бывало:

— Славно вы рассказываете, Анна Акимовна, заслушаешься! — говорит, тряхнувши кудрями.

VII

Прошел год. Обжилась у нас Анна Акимовна; узнали мы ее короче. Нравная была девушка, кичливая, обидчивая. Ни за что, бывало, повздорит со всяким; уж про Ефима нечего и говорить: всегда с ним во вражде, в ссоре, в гневе. По целым неделям, бывало, не говорят меж собой; отвертывается Анна Акимовна от него, а он только посмеивается. А то случалось, — вдруг нежданно подойдет к ней близко, склонится и прошепчет:

— Анна Акимовна! Здоровы ли?

Глаза у него такие тихие, голос мягкий.

Она так и обольется румянцем горячим, и хоть хмурится, а лицо таки просияет, против ее воли улыбка мелькнет. И убежит, бывало, от него. И долго после того не идет в людскую из хором.

А весела как она, бывало, после привету такого! И песни распевает, и шутит. Я, Миша себе за нею веселимся. А разговор у нас все как-то на Ефима сходит всегда. И сам не заметишь, как заговоришь про него, и пустое все рассказываешь: "Вот Ефим поехал лошадей ковать. Ефим песни хорошо поет. Вот Ефиму бы жениться! И на ком это ему бог приведет?"

Что ж тут за разговоры? Пустые! А Анна Акимовна словечка не проронит, — слушает. И как хитро на это речь сводит! Я бы довеку не

догадалась, да Миша надоумил. Это такой уж пройдоха был! Ничего и под землей от него не утаишь. Миша, как приметил, шепнул мне:

— Что это Анна Акимовна все на Ефима речь сводит? Вот новинка-то ему будет, а мне потеха!

Вскочил и убежал из хором. Верно, он тогда ж и передал эту заметку свою Ефиму.

VIII

Садимся обедать. Миша так и юлит, усмехается, моргает. Ефим пригрозил ему, да уж поздно. На беду, Анна Акимовна заметила и вспылила-вспылила. Она в тот же день как нарочно весела очень была, и сама об Ефиме спрашивала, а тут, видно, догадалась, что пересказано.

— Миша! — едва проговорила. — Я скажу барыне про твои насмешки!

— Какие насмешки, Анна Акимовна? Да я про свои дела… Я про вас, ей-богу, и забыл.

И такую рожицу смиренную скорчил тот Миша — кажись, только бы его калачиком наградить!

Ефим улыбнулся.

— Чего это вы гневаться так изволите, Анна Акимовна? Или что потеряли? Или слово забывчивое сказали? Что ж, слово не воробей, вылетит — уж не поймаешь!

— Ты чего привязываешься? Кто тебя-то спрашивал? — накинулась на него Анна Акимовна, не помня себя от гнева. — Зазнался, зазнался ты

очень! Вот уж посади за стол… Забыл, кто ты такой… что за вельможа? Что ты о себе думаешь?

Ефим стал перед нею, головою покачивает.

— Ты-то от каких князей род ведешь?

— Да как ты смеешь равняться-то? Бессовестный ты такой! Мой батюшка купец был, свою торговлю вел…

— Да-с, да-с! Нам небезызвестно-с! Ну, что вы, купцы? Ведь один обман от вас только. Я вот хоть бы вчера платок купил; божилось лихое твое племя: износу нет! А вот посмотри-ка — весь светится!

И покойно так рассказывает, платок развертывает; а она-то дрожит, вся бледная.

— Я барыне жаловаться буду, — крикнула.— Ты не смей издеваться, мужик глупый!

— Постой, постой! — заговорил Ефим, словно изумился.

— Да! Да! Мужик бестолковый! — кричит Анна Акимовна.

Ефима словно кто против шерсти повел; кудрями он тряхнул и бороду погладил.

— Погоди, погоди! — начал, сдерживая свой голос звучный. — Говоришь ты: мужик. Ну, признаюсь тебе сам, точно я мужик. И из деревни я недавно, — тоже признаюсь. Жил я там, пахал, сеял, кормился сам и продавал, и с людьми чисто поступал, дружно жил. Я нраву веселого. А ты, купеческая дочка, Анна Акимовна, чем ты взяла? Что из

себя-то ты вглядна? Это сущий пустяк. Первое дело — душа, нрав. Ты задорна, строптива больно…

— Как смеешь? — запищала она.

А он свое:

— Лет ты хоть не молодых, а уважения тебе ни от кого нету. Как ты себе не величайся, как ни кичись, — идут люди, а сами и не спросят: что это за Анна Акимовна на свете живет? Мой-то батюшка землю пахал, и всяк скажет: "Добрый мужичок был покойник!"

А твой, хоть и в лисьих шубах хаживал, да слава-то нехороша. Чего ж шипеть-то по-змеиному, — ведь правду говорю!

А у купеческой дочки голос с сердцов уж оборвался.

— Ты, — наконец вскрикнула, — ты как осмелился моего батюшку порочить? Как смеешь?

— Отчего не смею?

— Не смеешь!

— Смею.

Да как пошла! Кричит на всю избу. Мы их уговаривать, разнимать, — куда, — еще пуще! Вдруг слезы так и брызнули у Анны Акимовны; выбежала она из избы. Ефим захохотал.

— Со злости голосить будет! Анна Акимовна, на доброе здоровье вам! Готовы служить-с! Чем богаты, тем вам и рады!

IX

После этой ссоры они совсем и в разговор не входили. Встретятся — она отвернется. И такая недотрога стала, спаси господи! Чуть что ей покажется не так — вспылит, зашумит, забурлит. И он угрюмей, и шутки его злобные. Оба похудели, побледнели.

Раз Миша утром и шепчет мне:

— Слушай-ка, Катя, дива-то какие я тебе расскажу!

— Ну, что там такое? — говорю.

— Да Ефим сегодня ведь целую ночь глаз не свел… Я с вечера хватился его — нету. "Пойду поищу, где он", — думаю. Обежал весь двор — нету, и за воротами — нету. Сам не знаю, словно меня что-то толкнуло. Побежал я к реке; а он там и сидит на горке, над рекою. Склонил голову на руки — думает, да такой-то печальный, будто по родной матери тужит! А кругом все тихо, только вода плещет в берега. Месяц ясно светит. Не решился я его окликнуть, — побоялся, да и любопытно мне было, что будет. Жду, жду, а он все сидит, не шевельнется. Господи! Какой печальный-то он был! Какой уж унылый! Заря стала заниматься; он поднялся и тихо пошел домой, — вот словно больной, разбитый человек, — запряг водовозку и за водой поехал. Так вот, Катя, дива-то какие! Просто ума не приложить! И голова у меня болит от бессонницы, — мочи нет!

А я давно уж за Анной Акимовной замечала, что ей по ночам не спится, — сидит, пригорюнившись, на постели да думу думает. А то раз я пробудилась… Этой ночью гроза была сильная: дождь, ветер, град; деревья шумят и трещат; вода с крыш льется-журчит; гром раскатывается, грохочет; молния сверкает. Я вскочила, крещусь. "Анна Акимовна!" — окликаю ее тихонько. Ее нету. А у нас всегда лампадочка горела: видно, светло было. Гроза утихла. Где ж это Анна Акимовна?

Слышится мне в образной шорох, — я подкралась. Анна Акимовна перед образами на коленях стоит и так молится! Стиснула руки и только выговаривает: "Боже мой! Боже мой! Помилуй меня, грешную!" И в таком она томлении, в такой муке мучилась! Припадет к полу, лежит — и опять поднимется, опять взмолится; а без слов молится, без рыданья.

Ну, я своей заметки Мише не сказала: его уж и то любопытство-то извело совсем. Недоедает, недосыпает — все следит за ними. Что ж? Охота пуще неволи!

X

А днем их увидишь — невдогад тебе, что на душе деется у них. Свое дело делают исправно, и веселы, и смеются. Только меж собою не говорят, а так только шпильки разные пускают друг дружке. За обедом ли, за ужином ли, как сберемся, Анна Акимовна и начнет: речь про мужиков заведет (этим, знала она, лучше всего доймешь), и се и то. Язвила она раз, язвила — Ефим все молчал — а там и заговорил спокойно так:

— Эх, матушка, Анна Акимовна! А я, мужик, ведь за вас посвататься хотел. Что, думаю, девушка она хоть нетолковая, хоть вздорная, ерошливая, да за обозом сбредет!

Она вспыхнула и затрепетала.

— Полно же, матушка! — говорит Ефим. — Не извольте гневаться: нездоровье приключится. Опаски насчет сватовства моего не имейте. Пришла, было, дурь в голову и прошла. Всяк сверчок знай свой шесток. Мы себе ровню повысмотрим.

Она вдруг замолчала и молча целый обед просидела.

XI

После этой размолвки последней вдруг Ефим повеселел; прихорашивается все, прибирается. Часто стал со двора, из дому отлучаться; а из дому идет — песни поет; домой ворочается — с песнею. И все пел он:

Ах, ты, милая, хорошая моя,

Чернобровая, приветливая!

Притихла Анна Акимовна, и не слышно ее. Тихонько себе работает, а в свободный часок к вечерне идет, и все в уголку становится, в сторонке, и молится.

— Что барыня? — спрашивает меня Ефим одним вечером. Все мы в людской были; Анна Акимовна гладила. — Примет она меня?

— Да отчего ж не принять! — говорю. — А вам что?

— Да вот милости хочу просить.

Анна Акимовна слушает.

— Так и быть, — говорит Ефим, — надо вам признаться: жениться я хочу. Уж вы, Анна Акимовна, старого гнева не помяните, не обидьте мою суженую. Девочка славная!

Анна Акимовна побелела вся, и губы у ней задрожали. Не ответила ему ничего и вышла.

Ефим усмехнулся ей вслед и песенку стал насвистывать.

Легла барыня спать. Бегу я в людскую, слышу — на лестнице кто-то плачет. Смотрю — Анна Акимовна. И как уж она горько плакала-рыдала!

Я тихонько мимо ее пробежала; она меня и не заметила. Ужинать Анна Акимовна не пришла.

— Что это нашу Анну Акимовну от еды отбило? — говорит Ефим, да так лукаво посматривает и весело.

— Я видела — она плачет на лестнице, — говорю я ему.

— Плачет? — вскрикнул.

После ужина он сейчас выюркнул за двери. Мы с Мишею переморгнулись — себе за ним. Он прямо к хоромам; стал, послушал — плачет. Он туда. Месяц светит ярко, и лестница светла; а Анна Акимовна в темный уголок забилась. Он туда к ней — и обнял ее крепко, и целовать стал.

Как ахнет она! Глянула на него, узнала, да так и обвилась руками около его шеи и плачет-плачет!

Он ее на руках вынес из того уголка. Она вырываться — не пускает; поставил против месяца света.

— Ага, купеческая дочка, Анна Акимовна, — промолвил.— Теперь ты моя!

И так вымолвил, словно он врага своего лютого полонил, и у самого слезы две скатились, и такая усмешка злобная! Страшно и чудно на него смотреть тогда было.

Анна Акимовна только руками закрывается да плачет-плачет!

XII

Утром они к барыне пришли. Ефим за руку ведет Анну Акимовну. Она такая печальная, заплаканная, словно на казнь он ведет. Барыня их приняла, удивилась и обрадовалась.

— Хорошо, хорошо, — говорит Ефиму, — женись, позволяю. Я к Аннушке привыкла.

И дала барыня им ручку поцеловать.

Ефим сейчас и гостей пошел сзывать, подарки невесте покупать. А невеста сидит, ему рубашку шьет, а сама разливается-плачет.

— Что ж, Анна Акимовна, — говорит Ефим, — что ж вы своих не зовете?

— У меня никого нет, — ответила.

— Хоть дальняя родня, а все родня, — вы позовите.

— Хорошо, — говорит.

Позвала Анна Акимовна купеческих девушек на девичник. Пришли, все такие разряженные, в шелковых платьях, у одной золотая цепь на шее висела, и в ушах серьги драгоценные сверкали. Была это троюродная сестра Анны Акимовны.

К Ефиму никто не пришел. А уж как Анна Акимовна боялась убогих гостей! Чуть дверь отворяется — она в лице изменяется.

Купчихи сидели около стенок, чинно так, и орехи грызли. Невеста целый вечер проплакала. Ни песен, ни веселья не было; только один Миша утешался.

На другой же день — под венец. Ефим очень спешил свадьбою. Барыня сама молодых благословила. Венчать повезли Анну Акимовну в барской коляске, — так барыня приказала, — а Ефим ехать не захотел, пешком пошел.

Купчихи собрались еще нарядней: набелились, нарумянились. Ефимовых гостей все нету. Перевенчались и приехали все, со всеми гостями, домой. Взял Ефим с умешкой молодую жену и ведет, а на пороге их встречает хлебом-солью мужичок в зипунишке ветхоньком, в лаптишках. Невеста глянула и зашаталась. А Ефим ее, ближе подводит и кланяется в пояс тому мужичку.

— Злодей! — прошептала молодая.— Злодей!

Все купчихи словно окаменели, — стоят, смотрят так, будто ждут выстрела из пушки. Входят в избу, и в избе на лавках все в лаптях сидят… Купчихи глянули и пятятся к дверям, губы поджимают, платья свои шелковые подбирают, — обиделись, взъерошились…

А Ефим их упрашивает, двери им заступает:

— Что спесивитесь больно, гости дорогие? Да не обидьте, не огорчите: погуляйте на свадьбе!

А купчихи надулись, к стенке лицом от него отвертываются.

Тогда он им двери настежь.

— Была бы вам честь предложена, а от убытку бог избавил! Проживайте без нас, а мы-то без вас проживем!

Купчихи так табуном и понеслись к двери; зашумели промеж собою по-шмелиному.

— Анна Акимовна! — крикнул Ефим. — Угощайте дорогих гостей! Нарочно по всему городу бегал, искал таких, чтоб вам понравились. Что ж вы приуныли-то? Поживется — слюбится!

Понемногу все опомнились, обошлись, — а то ведь даже и повар удивился, — пьют, здоровья, многих лет молодым желают, целоваться их заставляют.

Анна Акимовна потеряна совсем, — вся дрожит, кланяется, целуется; словно она себя не помнит; потом села на лавку, и гости все разошлись, — она не шевельнулась. Говорили — не отвечала, не глянула.

XIII

На другой день она захворала и долго пролежала больна. Барыня к ней лекаря присылала. Он ее спрашивал — молчала. Лекарь ее дурою назвал и, по своему уж разумению, ей какое-то лекарство дал. Не приняла.

Ефим стал крепко тревожиться, затужил, закручинился. Целые ночи над нею просиживал и все, бывало, глядит на нее. А она его глаза встретит — отвернется; голос его послышит — вздрогнет.

А все-таки он суров с нею был; хоть видно уж по всему, что любил, а суров был. Только раз он ее нежными словами просил, — это чтоб лечилась. Уж как он тогда ее просил! Она только отвернулась. После того еще суровей он сделался, еще угрюмей и насмешливей. В черных его кудрях седина засветилась.

Никто не думал, чтобы Анна Акимовна оправилась. Сбирались уж ей гроб покупать, а она выздоровела. Переменила ее болезнь так, что и сказать нельзя: такая стала тихая, смирная, — водой не замутит.

Да не на радость поправилась.

Тяжело да горестно жилось Анне Акимовне. Ефим ей все за прежнюю гордость отплачивал.

— Утеряли вы, Анна Акимовна, свое княжество-то за мною! Вот ведь маху-то дали! Просто беда!

Она все молчит.

И глядит он на нее, бывало, как на своего врага жестокого, и часто приговаривал глядя:

— Жгуча крапива родится, да во щах уварится!

И усмехнется.

XIV

Анна Акимовна сохнет да тает не по дням, а по часам. А спросишь, — "здорова", говорит, и работы своей не бросает, работает. Глаза у ней большие такие стали, щеки впали и такой яркий румянец на щеках играл. Плакать она не плакала никогда: покойна была, только уж такая тихая да печальная! Бывало, как войдет, о чем бы ты ни вел речь веселую, — слово твое замрет и сердце заноет. Даже барыня стала замечать и спрашивать:

— Чего ты, Аннушка, так худеешь? Ты у меня выздоравливай, пожалуйста! Вот еще умрет, — беда тогда! Останусь я без ней, как без рук! Полечись-ка ты, Аннушка!

— Я здорова, сударыня.

— Ну, не худей, если здорова.

Ефим опять жесточе, да жесточе с нею, да угрюмей. Постарел-то он как за это время! Такие морщины глубокие его лицо избороздили! Не те уж глаза живые, — угрюмый, горящий взгляд; усмешка язвительная, слова насмешливые да едкие, а как засмеется — мороз по коже подирает, такой хохот его недобрый…

XV

К осени Анна Акимовна очень ослабела. Дни стали холоднее; дожди пошли. Вот перед покровом денек выдался ясный и теплый. Вышла Анна Акимовна на солнышко погреться: все она зябла. И сидела она в саду, под липою, работала. Время хоть осеннее было, и уж деревья лист разноцветный роняли, а хорошо еще в саду было: ягоды алели на шиповнике, белели пожелклые березы, и дуб еще зеленел… Хорошо было в саду, Анна Акимовна сидела и работала. Я приходила ее обедать звать — не пошла.

— Не хочу, — говорит.

Слезы у меня навернулись, что сидит она такая тихая-тихая.

— Анна Акимовна! — говорю. — Бросили б вы эту работу, отдохнули б немножко!

— На что бросать? — отвечает. — Кончать надо! Постояла я около нее, постояла.

— Славный день сегодня какой, Анна Акимовна, тепло.

— Тепло, — отвечает, — славный день.

Хоть бы она пожаловалась, хоть бы без слов заплакала! Нет! Хотелось мне обнять ее да приголубить; спросить хотелось, что болит, да я не посмела и ушла от нее с тяжелым сердцем, с тоскою.

Под вечер опять я побежала к ней в сад. Ее нет уж там. Я в хоромы, в девичью — нету.

Спрашиваю Мишу:

— Миша, не видал ты Анны Акимовны?

— Видел, — говорит, — она в свою поветку прошла.

А у них была поветка во дворе, где свое добро хранили.

Стучусь я в поветку — никто не подает голосу мне. Толкнула я тихонько дверь и вхожу; за мной и Миша.

Лежит Анна Акимовна холодна и мертва. В руках крест сжала, и такое лицо прозрачное да бесстрастное, словно восковое. Видно, что знала она, ведала, когда умереть ей: чистым полотном скамью застлала, и образ поставила себе в голову, и убралась, нарядилась.

XVI

Бросились мы, сказали соседям, доложили барыне.

Ефима с утра дома не было: послан был куда-то с книгами от барыни.

Сбежались люди; шум, говор, толки, аханье. Послали за дьячком. Стали над покойницей читать и понемногу все угомонились, опомнились. А тут Ефим на двор.

Кто был тут, все от него разбежались: он только оглянулся и прямо к поветке. Мы долго ждали, — не выходит. Пошли сами туда, смотрим:

стоит он около покойницы руки скрестивши, глядит на нее, слушает чтение. А дьячок читает громко, протяжно; свечки пылают.

И целую ночь он простоял, не шевельнулся, не вздохнул. На утро пошел, гроб купил, к священнику зашел, попросил дозволенья и могилу вырыл ей сам. Сзывал на похороны. Совсем спокоен человек был, кажись, а все чего-то страшно было; все сердце недоброе чуяло, вещало.

XVII

Отнесли на погост Анну Акимовну и в сырую землю схоронили. Заходили с кладбища люди; поминальный обед был, и Ефим сам распоряжался. Как разошлись все, он лошадей на водопой повел и говорит Мише:

— Миша, слушай да помни! Коли я пропаду, все мое добро отказываю жениной тетке; пусть ей все отдадут. Слышал?

Перепугался до смерти Миша.

— Слышу.

— Ну, помни!

И поскакал.

Вбежал Миша в людскую, дрожит всем телом.

— Ефим хочет руку на себя наложить!

Всполошил всех: побежали к водопою. Все лошади под горою к раките привязаны, а Ефима нет нигде. Окликать, искать, и нашли его

шапку около колодца, старого, заброшенного. А в колодце том давно еще девочка утонула, — и дна в нем не было. Около этого самого колодца шапку его нашли, скликали людей с баграми и с крюками, да с гамом, с говором, с шумом Ефима мертвого выволокли.